

*Ныряет солнце в лопухи,
Закат сочится сквозь плетень.
В селеньях нашенских, глухих
Без потрясений и стихий
Опять ко сну отходит день.
И серебрится молодик,
Затеплив в небеси светец.
И в ожерельях повилик,
Главою к росстаням приник,
По ком-то стонет крест-голбец.
Соседка, проглядев глаза,
Бесцельно кружит у ворот.
И не поверишь, рассказать...
Но мать, она — до гроба мать —
Все из Афгана сына ждет...*

Пасленовским дворам, беспорядочно разбросанным вдоль двух супротив друг дружки возлежащих холмов, неказистой деревушки этой, сбегаящей под изволок к самой пойме реки, и сейчас не повезло: бетонный большак ошмыгнулся, пролег в стороне верстах в двадцати пяти. Так и то как полегчало, раньше ведь в райцентр с ночевкой ходили. Одним днем, хоть как старайся, не обернуться.

Хотя... на мой погляд, именно в таком месте не обидно и жизнь прожить, и умереть.

Может, по причине глухоманного расположения этой деревеньки, кроме прилаженной на божнице справа от Георгия По-

бедносаца, напроць пражелтвишэйся карточкі, в избе большэ нн аднаго фотэ и не видать? Хэтя... в дэревнях-то как раз их абьчно уйма по стенам. Скорее всего, где-то прибраны другие снимки, просто эта карточка у воском закапаннаго Евангелия, у намоленных, окруженных розоватыми бумажными цветами образов, для хозяйки особо дорогая.

Тетка Серафима рада случайной гостье. Под Покрова будет год, как она осталась во всей Пасленовке одна-одинешенька. Последняя товарка ее, бабка Лукьяновна, с миром отошла еще по первопутку, и Серафиме теперь не с кем ни словечком перекинуться, ни складницу дров под навесом сложить, ни сны не с кем поразгадывать.

Старушка знает, что время так подпортило хранимый на пахнущей вечностью Божничке снимок, что издали уже и не разглядеть на нем ее Митюшу. Она допинается до полочки, бережно вынимает из-под обляного, когда-то расшитого алым убористым крестиком полотенца вставленную в самодельную рамку карточку сына. С нежностью дышит на отливающее нездешним светом стекольшко, протирает его краем выбеленной до синевы скатерти и, зачиная рассказ о единственной своей кровиночке, протягивает мне бесценный портрет.

Со мной всегда так. Если приходится смотреть на фотокарточку человека, дожившего до своего века, душа при думах, навеянных снимком, затепливается светлой грустью. А тут... К горлу подкатил такой давкий ком — не проглотить. И сердце ожгла немислимая жалость к этому, с сержантскими погонями, задорно улыбающемуся вихрастому парню, к неотвратимой безнадежности его судьбы.

— Э-эх! Коли знал бы кто, как мне Митенька достался, какими слезными слезьми вымоленный!.. Хочь фильму сымай. Тока разишь теперя всего упомнишь? Память стала — трушляк трушляком. Так и надо думать! Столько, как положил мне Господь, и вовсе не живут... Особливо с таким неизбывным горем... Ить разьедин он у меня был, сыночек-то... позднушок. В былые годы, скажу я тебе, в Пасленовке детворы в каждой избе, что мурашей водилось... А он мне, как есть, один даденный. Но я и тем довольная — и мне, пуцай крохотный кусочек материнского счастья, а все ж таки отвесился.

День жаворонистый, апрель перебрел холодами, и сейчас, на его исходе, погоды стоят на загляденье. Небеса расколоколились волновым заплеском, воздух можно кружкой пить. Скоро земля совсем пропитается солнцем. В заоконье вот-вот брызнут, заразбазаривают цветами бубенчики вишен. На задворках поперла глухая крапива, полынь, всякий-разный дурнопьян. В палисадовых кустах боярки хором голосят птицы. Вовсю закудрявилась по прогалинам мать-и-мачеха. Куры-несушки на подворье с кококаньем моют лапы в засолненной луже, где, видать, после драки плавают сине-золотистые петушьи перья.

Завтра Радоница. Пойдем с теткой Серафимой по первому одуванчиковому разливу в светло-русую рощицу, на погост.

По привычке тетка Серафима усаживается на лавку так, чтобы свет падал справа. Хоть почти и выровняла, одинаково изжевала долгая и многотяжкая судьбина и лоб ее, и обе впалые, тряпицами повислые щеки, все одно и сейчас еще отчетливо сквозь паутину морщин просматривается крупное, сливового цвета родимое пятно, заляпавшее почти всю левую часть ее угаслого лица.

Черносморозинные, когда-то бывшие праздничной одеждой души, а нынче запавшие, вдавленные временем, выеденные до бесцветья солью

бессонных ночей Серафимины глаза при мысли о сыне затепливаются. И в ту же минуту сама по себе начинает лучиться из них безмерная ласка. В уголках скукоженных, словно два прошлогодних фасолевых стручка, губ даже проявляется, как отблеск прошлого счастья, легкая улыбка. И старушка, научившаяся за горькие годы забываться, уходя с головой в это былое счастье, заметно оживает.

— Ни от кого не секрет, сама, поди, видишь, — уже не стесняясь своего уродства, вдруг поворачивает разговор на смущающую меня тему тет-ка Серафима, — ягодкой боровой я никогда не слыла. Дак и время, оно тожить кого хочешь согнет... Чтобы самой от себя не шарахаться, зеркалов в избе ни в жисть не держала. Без них все ж таки полегшей. Да и за работой забываешься...

Хотя как тут забудешься?.. Не надясь узнала — неманкая, и смолоду, бывало, ни один парень в мою сторону не взглянет. Годки-товарки, подоспело время, замуж повыскакивали, ребятишки у них, как грибы после дождя каждый год высыпают... Пойду на речку кой-что располоска-ть, бабы мужнины рубахи, детские рубашонки по воде распускают. Угнусь, пральником по камню со всей мочи луплю, луплю — боль эту проклятушую, громаднищую из себя выколачиваю. По деревне иду — шум, гам дитячий звенит, а у меня на дворе — тишина гробовая.

Кого в своем уродстве винить? Мамыньку-покойницу ли, тот Кащеев час, в котором по наущению сатаны угораздило мне с порчей народиться? Кто ж знает?.. Я по метрикам-то оспорила, с девятнадцатого году. Как чуток возросла, знамо дело, на дворе ребятня дражнит, ну, и стала я, значит, мамыньку-то пытатъ: мол, отчего такая беда могла со мною, невинным младенцем, приключиться?

Правда ли, нет, один Господь знает, стало ли то причиной, только рассказала мне родная о жутком своем испуге, от которого она мной раньше срока разродилась...

Тетка Серафима пододвигает колченогую свою табуретку ко мне поближе, налаживается на долгий разговор. Знать, время ему пришло. И я стараюсь старушку не перебивать, помня, как дорог для нее любой человек, заглянувший в это одинокое жильё, а уж коли гость окажется хорошим собеседником или хотя бы слушателем, так на всю оставшуюся Серафимину жизнь станет для нее родным. Да и потом: перед чужим не вот-то распахнешься, наболевшим, сокровенным не вот-то поделишься.

— А дело было так. Отец мой, вернувшись с Мировой с подтраченным газам нутром, ни за какие коврижки уже не захотел затесываться ни в белые, ни в красные, ни в какие зеленые. Обженившись, надеялся жить своим семейством, кормясь с небольшого по нынешним меркам клина, прирабатывая, как исстари у нас велось, отходом. Сказывают: шубники шил — игрушки, а не шубники!

Но где там! Как закрути-илась Гражданская, как запуржи-ила! Хошь-не хошь виноватым окажешься. Не перед одними, так перед другими. Так и вышло. Осенью девятнадцатого, как посыпались с деревьев в речку красноперками листья, со стороны Кром на нашу округу двинулся Деникин. Мужики-то здешние, деревенские, в основном — по фронтам, а отец мой — дома. Вошли, значит, белые в Пасленовку и давай всех на сход собирать. Так, мол, и так: коней сдать, фураж для них поставить, а самое главное — мужиков, кто оружие держать способен, — под запись и в строй.

Отец, знамо дело, засупротивился: коня, мол, не дам, фуражу — и так нема, и сам не пойду, навоевался по самые некуда. Война... все озлобле-

ны до предела! Доложили Фицери: мол, мужик в крайней хате, хоть ты что خواهь, фордыбачит: коня спрятал, сам в войско нейдет. Уж не красный ли он? А командер-то ихний, недолго думая, безо всяких разбирательств возьми да прикажи папаньку вздернуть. Для острастки, значит, чтоб другим неповадно было.

Покуль мамынька со мною во чреве до Хручихиной хаты напрямки по татарнику-мордовнику доколтыхала — тамотка папку сбирались поершить — уж все и случилось... Не успела, значит, родная, вымолить его у фицера. Обхватила она уже остывающие мужнины босые ноги, повисла на них и так-то голосила, так-то выла, что еле оттащила. А она уж и — словно не она, словно умом трехнулася. Не расторопились ее до избы довести, на полпути в ржаной копне мною и разрешилась.

С перепугу ли мамынькиного кровь прилила мне к лицу, так ли спервоначалу было предназначено — чего уж теперя гадать? Только врагу не пожелаю с таким обличием народиться, — задумчиво вздохнула тетка Серафима, подняла с колен изробленные руки, утерла уголком подшалька вызревшую слезу.

— Так и возрастала... все больше в одиночку да с краешку, не на свету. А как Отечественная-то подоспела, как немец попер, я уже по нашеним меркам перестаркой была — на двадцать втором годе. Сколько молодежи пасленовской поугнал тада антихрист к себе в Германию энту, будь она трижды неладна, в работы!.. А вот мной даже он побрезговал.

Мамынька померла на другой год, как осел в Пасленовке немец. Под Роштво. Январюга, скажу я тебе, в сорок втором выпал редкостнай, наскрость ошпарили земь морозы, даже в феврале, на Тимофея Полузимника, отродясь такой леденящей хрупки не видывали. Застудилась, значит, и померла сердешная... Ну, дак какая одежда-обутка по ту пору? Всю как есть подчистую хриц повыскреб и ношеным не погнушался... Голдовали, конечно. Картошечные лушпайки за счастье почитались.

Об том же, как бедовали и в послевоенные годы, сказывать не стану, небось, без мово сказу наслышана: курочка еще в гнезде, а мы уж полдня со сковородкой. Добавлю лишь, что кажный раз, как вспоминаю ту-то пору, диву даюсь: разишь, такое может обнакновенный человек сдюжить?.. А вот, поди ж ты: значит, может! Самое главное, я так думаю, чтобы душа не запаршивела, коростой не покрылась.

Серафима спохватывается, на удивление проворно поднимается, шаркает потрепанными бурками к печи, рядом с которой, «под рукой», с гвоздика свешиваются изрядно обобранные за зиму низки золотистых луковок, бледно-розового чеснока и скукоженные хвостики жгучего перца.

Отодвинув с устья заслонку, старушка ловко, словно молодуха, опершись на рифленый каток, подтягивает рогачом чугуночек, выкатывает «на продых» взопревшую гречу. Тут же по привычке обметает гусиным крыльшком от сора загнетку и возвращается на насиженное место.

Медленно капает день, слово за словом, не спеша, ведет свой сказ о сыне, о своем житье-бытье тетка Серафима.

— А жила я по-прежнему одна. Куды деваться-то: попала в колесо собака — слезьми захлебывается, пищит, а бежит. Так и я... Два года до конца войны в землянке: немец-то, отступая, Пасленовку наушшал пожар, ни избенки не оставил, одне трубы на погорелье торчали. Ну и вот, значит... Потом, попервоначалу, саманкой обзавелась... обнадеживаться-то разу не на кого было. Это уж когда-когда колхоз помог отстроиться. Дай

Бог председателю нашему, Митрипалычу, здоровья. Пожалел сударик мою сиротскую немочь.

И все в работе, в работе... Разной выделки, замесу бывают люди, а я уж, видно, из самого наипростецкого теста. Дак ведь без труда, знамо дело, приходит тока грех. Обжилась я, значит, завился худо-бедно, а все ж таки и в моей новой избе дымок. Дажить в палисаде, как у людей: все лето порхал мотыльками мак-самосейка, к августу завивались царские кудри.

В пятьдесят девятом надумала и я, как другие, провести в новую избу свою радио. По ту пору уже в каждой пасленовской избе под гимн вставали и ложились. Стыдно как-то за такую промашку супротив других. Порешила и порешила... Договорилась с Николаем — он у нас этим делом по деревням в очередку уже два месяца занимаемся. Сам-то проживал в районе, но по своему ремеслу приходилось ему ездить по округе, проводить радио. Район у нас просторный, обыденкой зачастую у него не получалось, зачастую уезжал от семьи с ночевкой.

В тот день работал он в нескольких дворах и только к вечеру допоялся до мово. Дело было в конце лета, вечера короче, темнеет раньше. Вот и стоворились мы, потому как уже стемнело, что заночует Николай у меня на сеновале — август на исходе, но духота, дажить ночами, — а уже с утраца примется за работу.

Повечерили, значит, мы. Сама знаешь, хочь какие там разносолы в деревне, а все ж таки в эту пору на столе новины вдосталь: и огурцы тебе, и помидоры, и картошечка с развару. Постелила я гостю в сеннике, и он отправился спать.

Серафима запнулась, словно принялась всматриваться в тот вечер, припоминать ту, невероятно важную для нее минуту, так неожиданно изменившую ее жизнь.

— Прибралась я на столе, смотрю: у рукомойника на гвоздочке клетчатая зеленоватая Николаева рубаха. И так-то крепко от нее пахнет мужиком... Вот и пришло мне в голову... Дай, думаю, хочь разок в жизни постираю, пусть и чужую, но все ж таки мужицкую рубаху. А как принялась за постирушку, глядь — в нагрудном кармане карточка. Парнишка на ней — вылитый Николай, годков десяти. И такой миловидный, глазки востренькие... папкины глазки. И статью, по всему видать, в отца выладнится.

Серафима даже прищурилась, словно держала в руках и рассматривала мальчишкину карточку.

— Закончила я со стиркой, воду с крыльца выплеснула, и надумалось мне сбегать к омутку, распустить Николаеву рубаху по воде, как обычно полоскают мужнины рубахи да подштаники наши пасленовские бабы. А заодно искупнуться.

...Вернулась на подворье, уж деревня утомилась, развесила на теплом ветерке рубаху. Села на крылечный порожек, сон — ну тебе ни в одном глазу. И вдруг, и сама не знаю, как вышло... Расскажи кто, и не поверила бы, что такая я, оказывается, рысковая, что на такое способна. По правде-то сказать, я ведь из самого что ни на есть робкого десятку. Для меня случившееся не только в редкость, но вообще из ряда вон... Поднялась я, значит, и сквозь темень напрямиком в сенник. Думаю: вот тебе, Симка, подарок, с неба упавший!

Разговор наш с Николаем передать не могу. Потому как вроде не в себе была. От волнения почти ничего не помню... да и сколько с той ночи минуло!

— Сын у меня, Сима! — заговорил было Николай. — Да и грех на сердце стопудовым камнем ляжет, дурная слава об нас покатится.

— А и пусть! — шепчу я ему, а у самой лицо от стыдобушки жаром полыхает. — Прошу тебя, не сори сейчас словами, не побрезгуй, Бога ради... подари мне немножко тепла. В семью твою вовек не встряну, дитя от тебя хочу, боле ничем никогда не потревожу. Уйдешь — забудь меня, только не оставь пустоцветом, прогорклой вековухой... ведь скоро догорю...

...Сказать по чистой совести, пожалел меня тогда Николай... Видать, Бога в сердце имел, — прошептала срывающимся голосом, будто для себя, страдалица.

Задохнулась охрипшая, распятая душенька тетки Серафимы, словно старушка надорвала грудь. И у меня, всхлипнув про себя, замерло сердце, боюсь пошевелиться, даю ей перевести дух.

— Весь август проработал в Пасленовке Николай, все ноченьки отколыбелил по моему почину у меня на сеновале. Сколько охапок сена перевели мы на труху, сколько звезд осыпалось за месяц над подворьем, озаряя мое счастье!

А как пришла пора сворачивать Николаю в нашей деревне дела, я уже была почти уверена, что понесла. Хоть и переполнялась душа моя радостными переливами, словно солнечные зайчики в ней поселились, ни словечком ему, родимому, не обмолвилась. А зачем?.. Пуцай себе живет со спокойным сердцем... семья у него... вить не зря же умные люди еще исстари приметили: мол, на чужом-то несчастье свою счастья не построишь.

Может, и узнал бы когда случайным случаем Николай, что бегают по Пасленовке мальчишка — его портретик... да такой-то ладненький, с его востренькими глазами. Да, видать, не суждено... А все войница эта, проклятущая... Все прибирает к своим загребушим рукам... Он ведь, Николай-то, в окопах от первого дня до последнего... Вот и вскрылись раны... Сама видела: и спина — в рытвинах, и живот исполосован. Года с той ночи не прошло, как не стало отца моего Митеньки...

Как сынишка в разум вошел, я, конечно, рассказала ему, какой геройский был у него папка. Придумывать-то особо ничего и не надо было. А мальчонке без этого никак нельзя... человек не должен чувствовать себя безродным.

Она призадумалась и вздохнула.

— Перед армией Митя обмолвился: мол, даже на могилке у отца побывал и со старшим братом познакомился. Уж как он измудрился, озаботился, не знаю, только думаю: правильно сделал.

Да и с измальства он у меня был смышле-онай! Растолковывать ничего не приходилось — только намекни, он тут же точь-в-точь и переснимет. Не заметила, как разговаривать начал. А ползать и вовсе не ползал. Встал себе, да и пошел. Самостоятельной — не приведи Господь!

Серафима умилилась сердцем, кажется, на лице ее даже морщины разгладилась. Не лицо, а сама ласка ласковая. И улыбка зацвела такая нежная, такая неувыдливая. Никакие иные воспоминания не могут посеять и взрастить в Серафиме схожих цветов радости, как думы о сыне Мите.

— А уж какой пытливай! От этого с ним беспристанно всякие-разные неурядки приключались. Вот, к примеру, это ж надо было додуматься испытанья с самим собой произвесть. С собственным языком. А ну как навовсе его лишился бы?

— Это как же так? — не выдерживаю я.

— Да как, как? Очень даже просто. Годков пять Митеньке по ту пору было. Соседский Витька, вымахал — орясина-орясиной, а в голове — мякина. Возьми да подначь энтот рангутан малого: мол, слабо тебе, Митька, замок амбарный лизнуть?

А дело-то было под Хрищенье. Сыночка и смекнуть не смекнул, на что его Витька-паразит подтолкнул.

— Вот делов-то! — говорит, да и лизь амбарник.

Язык тотчас и пристыл. Так еще бы! Чай, не май месяц, холодрыга за тридцать. Прибег забуденный Витька за мной.

— Тетка Сима! Ваш оголец приморозился!

Что тут поделаешь? Пришлось замок с амбару отмыкать, да вместе с Митей, с бедолажным его языком доставлять в избу. Так и сидел у печки: водой теплой поливала, покуль замок от языка не отвалился.

Две недели потом мучился, ни есть, ни пить не мог. Дак и энтото мало. Только оклемался, давай на спор с Толькой и Мишкой Крюковыми сосульки с ихнего пчельника грызть. А зачинщиком опять тот-то Витька был. Сам-то, небось, не попробовал, все над малышкой насмеялся. После того спора провалялся мой Митенька на печке ажни до самого Прощеного дня.

Так и это ему уроком не стало. Если пересчитать, пальцев недостатнет, сколько разов из-за своо любопытствования попадал он в оказии.

А то вот еще случай. Кабы не мои молитвы да бабка Матвеевна, в тот раз уж Митеньке точно из беды не выбраться. Надрали они с закадычным своим дружком Толькой на задворье полны карманы паслену вперемешку с дурманом, уехали у Крюковых на крыльце, собрались опробовать, что за хрукты-овощи такие. Слава Господу, на ту пору Матвеевна с огорода вернулась: не успели как следно приложиться.

Покуль у Мити двое суток от бабкиного узвара нутро выворачивало, я омывала слезьми перед божницей половицы: «Божечка! Мила-а-й! Не отымай Ты у меня единственную кровиночку! Не допусти смертыньки безвинному дитяти мому! Пошли Митеньке исцеление! Каюсь, каюсь! Знаю, помню, как не помнить-то? Их у меня, грехов-то, ажни сто мешков! Не вмейай Ты сыночку грехи мои... Чего тебе стоит, Всесильной?! Вить мне без сыночка хочь головой в труду-ль».

Снизюшли Небеса до моих молитв: туда-сюда, глядь, уж опять Митюша на ногах, опять чегой-то затевает, все-то ему неймется.

А сердешнай был! До каждой козявицы жалостливый. Бывало, у кота нашего Кусихвоста мышей отымит и отымит, и на волю отпустит. Кот-то с голодухи ли, хищного ли интересу ради даже тараканов, что кишели в запечье, ловить наловчился. По правде сказать, поменяло их тогда изрядно, а то ведь как с ими не сражайся, расплодились, по ночам стены и лавки от энтотй усатой твари шевелились.

Уж поболе подрос Митя, годков десяти был, такое живчик начередил, думала, после того дня сниму с Полкана цепь, на его шею накину да к столбу, что матицу посередь избы подпирает и прикую, чтобы со двора боле ни шагу.

В самое половодье случилось. Морозы стояли в тот год страшные. Речка почти до донного доньшка промерзла. А с началом поста, как ни упиралась, все ж таки тронулась. Грохот, скрежет по всей пойме. Льдины сшибаются, переворачиваются, одна на другую насаждает. Смотреть, и то жутко.

Под Вербное было-то, как чичас помню, на Акулинин день.

Уж как она там оказалась, неведомо, с верхов, из Копыркино приплыла, что ли ча? Сидит, значит, на крыге рыженькая такая, с кошку, ну, чтоб не приврать, пушай, с две варежки, собачонка. Сидит, морду вверх задрала и так-то жалостливо, так-то слезно воет — ну, что твоя баба по покойнику голосит.

Как нарочно на то время спровадился Митя спозаранку в лозинник. Помнишь, наши у Кривой балки завсегда там вербу по болотоцветнику к празднику ломали? Ушел и ушел. Час нету Мити, два нету, уж пора возвратиться. Я и по двору управилась. Солнце на полпракитки вскарабкалось. Обед стряпая, а сама глаза проглядела. В редкую стежку ведь пообещает и не сполнит.

Вдруг врывается в избу Толька Крюков и прям с порогу: «Тетка Сима! Митьку вашего на крыгах за деревню уносит! Батька воротину снял, на речку побег».

А получилось-то как? Уж и домой ребятишки с вербой возвращались. В недобрый час возьми и подвернись им эта несчастная собачонка. Разишь Митя мог пройтить мимо? Кинулся вызволять!

Когда я, наконец, очутилась у воды, Петро Крюков, Толькин батька, и еще пара наших мужиков с лестницами и баграми уже передыхали на берегу. Митя в обхватку с собачонкой сидел на крюковской воротине.

— От же ж паразит! Что ж ты, такой-разэтакий, делаешь? Угомон тебя возьми! Сердце выковырнул из груди! Рази не ведаешь, что на Акулину вода в реке — не Божья роса, русалки нынче опосля зимы просыпаются! А тебе — завей горе веревочку! Вот утащили бы под крыгу — и с концами!

Накинулась, было, я на сына и давай стращать. А потом вижу: дело плохо. Ах ты, Господи! Чевой-то неладное с им! Ни жив, ни мертв, надо бы пуще, да некуда: губенки синие трясутся, зубы стучат, кухвайку хочь выжимай, набрякла от воды. Невелика я росточком, а только откуда силы взялись? Вскинула его на плечо, как куль с мукой, да и потащила до дому. И давай и внутрях, и снаружи: то гусиным салом, то нутряным жиром, то нутряным жиром, то гусиным салом. А сама думаю: в таком разе теперя точно привяжу. Куды там!.. Разишь в каждый след доглядишь? Да и под юбкой мужика, как ни крути, не вырастишь...

Тут вдруг Серафима еще ниже опустила бескрылье плечей — снова застыло ее сердце, ушла в шаль, на лице опять проступила витиеватая ажурь морщин. А от уголков рта пролегли две глубокие борозды. Под глазами — несчетное перекрестье дорог. Глаза ее вдруг погасли, и прижившаяся в душе старая заскорузлая печаль черной тенью накрыла старушку — краше в гроб кладут. Разговор сам собой скомкался. Избу поглотила такая тишь, что слышно было, как по углам шебаршились суетливые мыши.

— Стану, бывало, с ним разговоры разговаривать: мол, жаль ты моя, вить случись что с тобой, тотчас и у меня сердце на куски, — очнулась Серафима. — А вот поди ж ты... живу... По радио слыхала: мол, долголетие — знак особого благоволения Господа к человеку... И зачем оно мне?.. Какой во мне теперя прок?.. Мити-то, опорухи моей, нету...

Лучше бы она заплакала. Может, хоть на чуточку легче бы стала крестиком расшитая ее судьба, выношенные ею муки. Но Серафима давно свои слезы истратила. Зато до конца старушкиного века пригнездилась жгучая, ничем не унимаемая боль в ее опустошенном потерями и временем сердце.

— После школы выучился сынок на шофера. А осенью семьдесят девятого подросло время идти на службу. И вить не брали сиротинку-то! Да он: мол, как жа? Срамно супротив ребят! Стыдоба вить! И дообивал на свою... да и на мою голову порог военкомата!

С той минуты, как узнала я, что он попал в Афган, вздрагивала от малейшего шороха, не хватало духу слушать в разговорах разные новости об той войне... Ведь уже доставили матерям и схоронили в Ясенево и в Успенском двух Митиных одногодков. Я и ждала, и боялась появления у моей калитки Зинки-почтальонши...

Он погиб в восьмидесятом, в последний день зимы... В гробу я его не видала, закрытый казенный гроб... Накричалась до не могу, до онеменья. Душа искалечилась, промерзла наскрость — не живописать словами. Все до единой косточки, словно через мясорубку пропустили... Дажить и не знаю, как измудрилась наша фельдшеричка Климовна меня с того света достать...

Письмо пришло через три дня после похорон. Шуточное ли дело?.. Открываю, а в нем карточка... И Митя во весь рот улыбается! Пишет: мол, все у него хорошо. Я тада, простодыра, хочь слабина в коленях, как во хмелю — в военкомат. Внутрях все запеклось, отдышалась да так, мол, и так, письмо получила. Может, сослепу чего в ем не разобрала? Зародились сумления... Тока скажите правду, кого вы мне в гробу доставили?

А они не обнадежили... еще тужей завязали мою судьбу в вузляк.... Бывают, мол, с почтой накладки... Помстилось тебе, мать. Выбрось из головы свои угарные мысли, не сумлевайся... пал твой сын смертью храбрых двадцать девятого февраля в Кунарском наступлении.

Только какая ж мать поверит, скажи мне на милость, коли сыновней рукой выведено: все у меня хорошо, мама?.. И такой веселый!.. Вить без него мне, словно небо без Бога...

До перехвата дыхания стало мне жаль засиротевшую тетку Серафиму. Позже, признаюсь как на духу, не без душевного трепета, навела я справки. То, Кунарское наступление 29 февраля — 12 марта, — рейд батальонов Советской армии в провинции Кунар. В бою у кишлака Шигал 29 февраля в первом столкновении в истории Афганской войны подразделения ВДВ с моджахедами были убиты 37 наших ребят, 1 пропал без вести и 26 ранены.

И вот теперь думаю: правильно ли я поступила, что снова приехала в утепленную верой избу, чтобы рассказать тетке Серафиме, — она ведь горе свое и без того пила глубоким ковшом, — еще и о без вести пропавшем в том наступлении парне?

— Отец Небесный! Да это мой Митя! Мертвым я его не видала! — снова осветилась, упрочилась надеждой измыканная, но так и не свыкшаяся с потерей мать. — Третьево днись опять сон об нем был, вещует мне сердце: живой!